

О. М. Шутова

## ИСТОРИОГРАФИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ: ДОМЕНЫ ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

Незаметно быстро вошедшая в нашу повседневность эра деконструктивизма и релятивистского сомнения, казалось, предрекла конец дискуссиям о предмете теории истории, или историографии, или философии истории, или интеллектуальной истории (терминологические уточнения не вписываются в формат тезисов). И вот уже целое поколение историков выросло в недоверии ко всякого рода «объясняющим моделям», «глобальным схемам» и другим метатеоретическим соблазнам, предпочитая работать в сфере «прикладных» исследований, заполняя пробелы и «белые пятна» «конкретной» истории. Несмотря на это, в общем потоке историографии все более заметными и авторитетными становятся исследования, давшие дорогу целому новому направлению — интеллектуальной истории. Все-таки «думать, что можно думать вне или без теории — иллюзия. ...Теоретический способ мышления — это попытка проблематизировать само соотношение между тем, что мы можем видеть... и тем, что мы можем думать об увиденном с преимущественной точки восприятия»<sup>1</sup>.

В связи с этим многие историки пребывают в положении неопределенности, ибо в западной исторической традиции термин «историография» закрепился не столько за историей исторического познания вообще (как, например, ее понимают «новые интеллектуалы»), сколько за такими сферами исследований, как философия истории, или теория истории.

Сегодня, помимо собственно истории, занимающейся изучением прошлого человечества, так сказать, «прикладной истории», уважаемой от всех философий, поскольку ее вотчина — «настоящее» дело, «реальная» история<sup>2</sup>, мы можем кон-

статировать три основные сферы, с многообразными вариациями, в которые вписывались философско-исторические исследования:

1. Философия истории, исследующая онтологические аспекты, такие как общий смысл, направленность и закономерности исторического процесса — спекулятивная философия истории.

2. Наука об историческом познании, т. е. философия истории, ориентированная гносеологически, рассматривающая особенности, логику и методы исторического исследования — критическая философия истории.

3. Историография как история исторической науки.

С начала XX в. дискуссии вокруг комплекса «онтологический versus гносеологический» занимали особое место в исследованиях философов истории первой половины XX в. Э. Трельч, Н. Кареев, Л. Карсавин, Р. Коллингвуд считали вопрос об исследовательских полях философии истории делом первостепенной важности. «Гносеологическое» направление, делающее акцент на понимании философии истории как теории исторического познания и методологии исторического исследования, усилило свои позиции во второй половине 60—80-х гг. XX века<sup>3</sup>.

С другой стороны, спекулятивная философия истории в целом во второй половине XX в. дискредитировала себя в сознании многих историков. И марксистско-ленинская, и «буржуазные» версии философии истории показали несостоятельность политики составления моделей/схем исторического процесса. В результате исследования онтологических аспектов, некогда бывшие столь популярными, переживают сегодня не лучшие свои дни. Как отмечает голландский представитель «новой интеллектуальной истории» Ф. Анкерсмит, «в период после второй мировой войны, исследовательский акцент сдвигается в сторону историографии и критической (т. е. «гносеологической» — О. Ш.) философии истории»<sup>4</sup>. И более того, многими авторами отмечается тенденция, «сильного подъема историографии за счет критической философии истории»<sup>5</sup> (здесь и далее курсив мой). Таким образом мы видим, как смыкаются два направления в этих до сих пор отличающихся друг от друга дисциплинах. Философская рефлексия исторической профессии больше не ориентируется на философский анализ, связанный с источниками и

доказательностью исторических суждений, а имеет тенденцию к осмыслению прошлого истории исторической мысли и

в особенности делает акцент на том, что систематически утаивалось или «репрессировалось» во фрейдистском значении этого слова.

Вопрос о демаркации границ между такими дисциплинами, как философия истории, историография, теория исторического знания, методология истории, историософия, а теперь и интеллектуальная история или история идей, все более теряет актуальность. Ломая копыя в спорах о том, какие поля следует «отдать» каждой из этих дисциплин, мы зачастую забываем о двух главных моментах: (1) в силу разных значений, которые мы придаем этим терминам, оперирование одинаковыми сигнификатами не означает, что мы имеем в виду одни и те же сигнификаты; (2) всякая демаркационная схема остается теоретической, поскольку является лишь очередной (и субъективной<sup>6</sup>) «идеальной моделью», в то время как в реальности темы исследований философско-исторического комплекса будут пересекаться. Как указывал Ю. Лотман, «мы создаем некую модель, жесткую, которая сама себе равна, и она очень удобна для стилизаций, для исследовательских построений. Но в модели нельзя жить, нельзя жить в кинофильме, нельзя жить ни в одном из наших исследований. Они не для этого созданы. А жить можно только в том, что само себе не равно»<sup>7</sup>.

С другой стороны, отмечается всплеск интереса к историографии (как за счет включения в нее традиционного домена критической философии истории, так и из-за растущего авторитета новой интеллектуальной истории, делающей акцент на анализе дискурсивных практик истории). Однако этот интерес все же касается совершенно иной историографии, отличной от той, к которой мы привыкли. Как обобщает Ф. Анкерсмит, «можно говорить о «новой» в противоположность «старой», традиционной историографии; различие между ними состоит в разном видении природы исторической реальности, исторических текстов и взаимоотношений между ними. Традиционная историография основана на том, что можно называть постулатом двойной прозрачности. Во-первых, исторический текст рассматривается таким образом, как если бы он был «прозрачен» по отношению к исторической реальности, которую он (текст) открывает. Во-вторых, исторический текст рассматривается как «прозрачный» по отношению к суждению историка относительно какой-либо части прошлого или, иными словами, по отношению к (историографическим) намерениям, с которыми историк писал текст. Согласно

первому постулату прозрачности, текст позволяет нам видеть сквозь него прошлую реальность; согласно второму — текст является совершенно адекватным средством передачи историографических взглядов или намерений историка»<sup>8</sup>.

Взгляды новой историографии, разделяемые сегодня многими историками, возникли как закономерное продолжение целого переворота в сознании, который происходил (и происходит) на наших глазах. Это переворот, порою обобщенно называемый «постмодернистским», касается, прежде всего, разрушения веры в адекватность нашего представления о реальности: «Постмодернистская мысль пришла к заключению, что все, принимаемое за действительность, на самом деле есть не что иное, как представление о ней, зависящее к тому же от точки зрения, которую выбирает наблюдатель, и смена которой ведет к кардинальному изменению самого представления»<sup>9</sup>.

Этот переворот сознания происходит благодаря так называемому «лингвистическому повороту» — весьма размытому процессу, который несет самые разнообразные и, как казалось бы на первый взгляд, не связанные между собой явления. Мы замечаем их проявления как в области «чистой философии», так и в повседневной культуре, на уровне потребительского спроса. Так, на язык постмодерна переводятся знакомые сюжеты мировой культуры (наприм, недавние «Шреке» — Dreamwork Pictures, 2001 и The Matrix 2 — Warner Brothers, 2003, ощущается всеобщая интертекстуальность культуры, наполнение коннотативными элементами, скрытыми смыслами и аллюзиями, драматично развивается Интернет как поле, источник и следствие постмодернистского мышления, «десакрализация» бодрийаровских симулякров, рост дискурса кибербанка и т. п.

Постмодернистская «чувствительность» существенно изменила наши представления о мире и даже сам стиль наших высказываний о нем. Ирония (когда утверждаемое буквально отрицается на уровне подтекста), продолжающая цепь ассоциаций «либерализм — контекстуализм — сатира», характерную для исторической практики наших дней и высказанную лидером интеллектуальной истории Х. Уайтом, становится сегодня доминирующим настроением не только для литераторов, но и преобладает в историческом нарративе.

Выбор историка, зачастую бессознательный, зависит от языка, которым он пользуется (или дискурсивных практик, которыми он живет). Более того, Уайт, а за ним и многие другие авторы, считает, что история не выработала собственного научного языка, а пользуется квазитеоретической терминологией. Эти установки позволяют ему сделать вывод о том, что историки используют те же самые тропы, которые живут в обыденной речи. «Ирония как троп обеспечивает лингвистическую парадигму способа мышления, радикально самокритичного не только в отношении какой-либо конкретной характеристики окружающего мира, но и в отношении самой возможности адекватно отразить сущность вещей в языке»<sup>10</sup>.

Естественно, что «постмодернистская чувствительность» не могла не найти отражение в историографии. Под влиянием ли философов и литературоведов, под напором ли художественных, музыкальных, литературных образов, — но «картина мира» историка тоже существенно изменилась. Такие тенденции, как антропологизация истории, новое понятие о «социальном», акцент на «опыте», поворот к микро-уровневым исследованиям, смещение исследовательских интересов с «центра власти» на ее «границы», осмысление и изучение «второй реальности», темпоральный релятивизм, так называемая «фрагментация» исторических исследований, проявляются не только в отдельно взятой дисциплине истории. Эти тенденции составляют сеть проявлений нового состояния мира, и историографы не могут рассматривать их в отрыве от общей картины постмодернистски-техногенно-виртуально-глобального комплекса.

Тем не менее, если, перефразируя Д. Ла Капра, историография в ее «западном» варианте уже давно переживает период той же ферментации, что и литературная критика и философия<sup>11</sup>, то историки Беларуси все еще тяготеют к декларированию своего «иммунитета» к «болезни постмодерна» с его снедающими сомнениями и рефлексивной напряженностью, которые проявились в других исследовательских областях.

Такие дисциплины, как литературная критика и философия, уже приложили немало усилий для осмысления новых тенденций, связанных с постмодерном. Сможет ли историография, в ее новом обличье, вступить в эти дебаты на равноправной основе, как о том мечтает Д. Ла Капра, «не просто как хранитель фактов или неопозитивистская падчерица социологии, и безусловно не как мифологизированный

локус для какого-либо додискурсивного образа «реальности», но с правом критического голоса среди дисциплин, рассматривающих проблемы понимания и объяснения»<sup>12</sup>? Видимо, интеллектуальная история должна сыграть в этом решающую роль.

<sup>1</sup> White H. *Figural Realism Studies in the Mimesis Effect*. Baltimore, London: The John Hopkins University Press, 1999. p. VIII.

<sup>2</sup> Со времен Геродота в ней доминировала вера в то, что история сама по себе состоит из живых историй, индивидуальных и коллективных, и что принципиальная задача историков — открыть и пересказать их, т.е. передать их в нарративной форме настоящему. Конец XX в. характерен глобальными сомнениями по поводу, как самой реальности реальной истории, так и природы нарратива.

<sup>3</sup> Русакова О. Ф. *Философия и методология истории в XX веке: школы, проблемы, идеи*. Екатеринбург, 2000. С. 12.

<sup>4</sup> F. R. Ankersmit. *The reality effect in the writing of history; the dynamics of historiographical topology*. Holland, Amsterdam, New York, Oxford, Tokyo, 1989, p. 5.

<sup>5</sup> Там же. С. 6.

<sup>6</sup> Вслед за Комманджером можем лишь повторить, что выбор историка — «это продукт индивидуального опыта и личности исследователя»

<sup>7</sup> Лотман Ю. М. *Город и время // Метафизика Петербурга*. I. СПб., МСМХСН. С. 85.

<sup>8</sup> Ankersmit F. R. The reality effect in the writing of history; the dynamics of historiographical topology. p. 5.

<sup>9</sup> Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. с. 230.

<sup>10</sup> White H. Metahistory: the Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore; London, 1973. p. 38.

<sup>11</sup> La Capra D. History and Criticism. Ithaca and London: Cornell University Press, 1985. p. 46.

<sup>12</sup> Там же. С. 10.